

Христо Манолакев

Многоликий канон: история русской классической литературы после перестройки

В конце XX столетия страны бывшей Восточной Европы пережили социальные и политические катаклизмы, наметившие конец тоталитарной эпохи. Идеологический перелом принес в эти литературы долгожданные перемены, после которых проистекли неожиданные последствия. Если рубеж веков предвосхитил первые признаки наступающего кризиса, новый XXI век с грустью признал, что из столпа гуманистики литературоведение превратилось в маргинальную нишу социокультурного дискурса. Кризис повсеместный. Под сомнение поставлена сама филологическая идея; постепенно истлевает та энергия, которая когда-то поддерживала ее vitalность; после 70-х годов прошлого столетия стало более очевидно самоисчерпывание ее теоретической мысли и стремление скрыть отсутствие свежих содержательных идей претенциозным бегством в плоскость языка; мучительно девальвирует ее институциональность, что рефлектирует на ее социальной престиж; падает интерес к ее логосу, к чтению; она самоизолируется в интерпретации.

Цель настоящего текста¹ — показать как кризис повлиял на бытийность русской классики XIX века. Еще в самом начале я бы подчеркнул внеположенность своей точки зрения — с од-

© TSQ № 44. Spring 2013. © Hristo Manolakev, 2013.

¹ Настоящий текст является частью более объемного исследования типологии русского литературного канона XIX века. Библиографический аппарат сознательно опущен.

ной стороны, я занимаю позицию исследователя (а не участника), притом иностранного, а с другой, я и не желаю обязываться отношением к сложным и идеологически неоднозначным процессам в современной русской филологической парадигме.

Борьба против канона для стран бывшей Восточной Европы является олицетворением кризиса. Однако в России ее идеологические основания и механизмы протекания были совершенно иными; чтобы выяснить ее специфику, вспомним некоторые моменты из происходивших к концу XX века дебатов о каноне в американских университетах. Они были спровоцированы содержанием программы по американской литературе.

Между понятиями канон и национальная литературная история возникло напряжение. Очень часто под канонем понимается «традиция», «классика», «литературное наследие», т.е. как синоним он функционально употребляется в ценностной зависимости от литературной истории, он — та ее часть, которая эмблематизирует целое. Процессы, о которых говорим, переменяли это соотношение — о каноне начали думать как о текстовом пространстве, отличном от компрометировавшейся «классики», «канон» превратился в термин иного порядка, противопоставляемый литературной истории. В то же время, борьба за канон отсылала и к другим дискурсам социального пространства. После деконструкции концептов «нация» и «Родина» серьезно была поколеблена и идеологическая сущность понятия «национальная литературная история».

Присущей для американской гуманитаристики в это кризисное время была сильная радикализация воспринимаемых из Европы разнообразных постструктуралистских «левых» и «правых» идей, которые здесь трансформировались в социальные доктрины. Из инструментариума для осмысления классики феминизм, постколониализм, мультикультурализм и т. д. начали перерастать в социальные направления, борющиеся за свой канон. А это изменило смысл дебатов, акцент все более настойчиво ставился на праве различной идентичности.

Таким образом ревизия национального литературного канона переросла в борьбу за легитимацию канонов. В конце, вместо того, чтоб вестись за право на место в одном каноне и за право на единый канон, дебаты велись за равноправие идентичностей с различным идеологическим знаком: множество *социальных* против одного *национального*, т. е. *национальная* литературная история потеряла свой статус исключительности и в национальном пространстве она стала одна из многих литературных историй.

Именно в таком контексте дебаты о каноне оказали заметное влияние на теоретический проект идеологически меняющаяся Восточной Европы. Здесь, конечно, имитативно воспроизвелись уже знакомые практики борьбы за новое, и в то же время она вышла за рамки эстетического переосмысления ценностей и заметно политизировалась. «За большую западность» — так воспринималась миссия канона, что означало большую современность, освобождение от объятий советского наследия и присоединение своей интерпретационной позиции к западному дискурсу.

Однако в постсоветской России процесс развивался по-разному.

В западном пространстве обычно интеллектуальные дебаты строятся на оппозиции «левые» — «правые», тогда как в России, в частности и теперь, он был проблематизирован при помощи формулы «мы и Запад». А это уже другая идеологическая рамка. Борьба за канон была осмыслена через память исконного русского вопроса о «русском пути» и зазвучала знакомо тенденциозно: *нужно ли следовать современному западному опыту или необходимо обратиться к своей почве, опереться на свою национальную духовную традицию*. И снова наметились знакомые крайние взгляды в смысловых проекциях «вечной» для русской культуры оппозиции западничество — славянофильство.

После падения границы между двумя идеологически противопоставленными до тех пор пространствами и в последовавшем обмене идеями, постепенно исчезла необходимость соотносить интерпретацию с «номенклатурной» националь-

ной методологической нормой. Появились новые и независимые исследовательские центры, журналы, издательства, которые заявляли и осуществляли новые научные программы и проекты, в соответствии с актуальными европейскими исследовательскими тенденциями. Таким путем постепенно исчезла власть централизованной институциональности, призванной формировать и отстаивать единый национальный литературный канон. Но развертывание этой прозападной тенденции, борьба за другой канон, имела свои специфические особенности, предопределенные идеологией и сущностью русской исследовательской установки.

Поколебленная идея о центре была среди самых важных последствий *борьбы за другой канон*. В сущности, читать против нормы, было скрытым пафосом того, что в 70—80-е годы называлось «поэтикой» и более или менее осуществлялось в плане «закрытого» текстового анализа (*close reading*). Постмодернистский проект в этом смысле нашел готовую основу — во время «перестройки» закончились намеченные тенденции, которые из периферии перешли в центр теоретических дебатов. И это заставляет нас вернуться к уже отмеченной конфронтации между «каноном» и «национальной литературной историей», так как в русском контексте противопоставление приобрело болезненные измерения.

Борьба за другой канон дала возможность разрабатывать вопросы, которые были немислимыми до того момента. Например: о теле, о пище, о вине, о мусоре, о мухах, о власти и т. д. Несомненно, что сами по себе они очень интересные, они осовременяют проблематику этой литературы и, в то же время, они скрыто подрывают устойчивость ее глобальной идентичности. Эти актуальные интерпретативные сюжеты приобщают ее к западному исследовательскому дискурсу и одновременно с этим как бы отнимают от нее ее исключительность. Так как интенциональность их идеологии (т. е. постмодернистского проекта) центроуничтожительная, они дробят единое тело на множество самостоятельных, впечатляющих кусочков, из-за которых теряется ощущение о целостности, о весомости, о вечности. Сознание о ее различном

содержании, об особом ее назначении, о мистическом смысле ее парадигматичности неожиданно оказывается иллюзией. Таким образом (постмодернистская) интерпретация обезличивает особость русской идентичности и приравнивает «русскость» к остальным идентичностям. Русская национальная литература уже не единственная «классическая» национальная литература в европейском пространстве, а одна из многих в общеевропейском литературном процессе, т. е. она уже не является той сингулярностью, которой Россия может гордиться перед человечеством. Отсюда, само появление и утверждение этих всевозможных канонов уже упраздняет необходимость употребления понятия «русская классическая литература». Заключение, до вчерашнего дня немыслимое. Именно этот кризис «классического национального идеала» (об) (особой) идентичности своей литературы, как следствие борьбы за другой канон, и превратилось в основание порождения противоположной тенденции — *борьбы за сохранение своего национального канона*.

Ее выражением стал повышенный интерес к проблемам христианства в интерпретациях русской литературы XIX века. В самом начале необычная переориентация интерпретативной оптики к религиозному выглядела не менее странной, чем некоторые сверхпретенциозные постмодернистские «заумные» писания. Сегодня уже обстоятельно говорится и пишется о «православных ценностях русской литературы и культуры», о «христианской вере и ее отражение в русской художественной литературе», о «русском религиозном и литературном месианизме», о «религиозности русских писателей и ее отражении в их художественных образах», о «православной этике русской литературы», о «взаимодействии русской литературы с православной аскетической традицией», о «религиозном призвании русской литературы» и т. д. Все это было проявлением новой исследовательской парадигмы, формировавшейся как реакция на разрастание предыдущей тенденции, как знак идеологического несогласия с ней. Во время «перестройки» выявление христианской сущности русской литературы воспринималось в общем контексте освобождения от тем «табу»,

так как в годы тотального радикального атеизма этот специфический знак ее содержания либо был полностью вычеркнут, либо был искажен через ценностно-идеологизированный конфликт с нигилизмом.

Однако, оказалось, что овладеть вновь обретенной Верой, является вопросом не только идейного пафоса. Разность контекста, при помощи которого возможно подойти к знакомому произведению, является одним из базисных условий интерпретации. Даже и для неискушенного в «религиозном» анализе ясно, что для многих из классических русских произведений XIX века христианская идея предлагает более различный интерпретационный ключ.

Однако, что случилось с *художественностью* художественной литературой? Вопрос основательный, так как художественная литература парадоксальным образом начала терять телесность, потому что в этих исследованиях слишком много говорилось о православии и очень мало о творчестве, т. е. художественность оказывается функционально подчиненной религиозности, а эстетическое исчезает под слоем пастырско-богословской лексики и нескончаемом потоком библейских цитат.

Без усилия можно заметить, что в этих исследованиях старая социальная идеология, через которую некогда обязательно изучалась динамика художественно-эстетических процессов, теперь заменяется новой, а именно религиозной, объявленной снова за единственно правильную, верную, настоящую. Искусительно сопоставить ситуацию с борьбой за канон в американских университетах. Действительно, если оказывается, что для смысла текста решающее значение имеют контексты «пола» и/или «сексуальной самоидентификации», «социальной» и/или «культурной группы» и т. д., почему бы «религиозному» контексту не быть тоже семантическим и актуальным? Однако, обе ситуации несоизмеримы из-за другого. ТАМ функциональность контекста в том, чтобы отграничить текст среди других, а ТУТ — в том, что бы семантически обособить целую литературу с всеми ее текстами среди остальных литератур. А это уже процедура иного идеологического акта.

Конечно, мы ничего бы не сказали, если ограничимся только констатацией появления этой новой идеологизации. Без всяких оговорок можно говорить об идеологической смене интерпретационного кода. Как и прежде, когда с марксистско-ленинских позиций исключался любой альтернативный подход к тексту, так и теперь, одна идеологическая позиция, в данном случае христианская, узурпировала право на выдвигание оценочного критерия. И вот важный вопрос: *почему дошло до этой идеологической метаморфозы?*

В «перестройке», с ее карнавальным переворачиванием знаков, смещением голосов и шумов, не трудно уловить напряжение между радостью и травмой от перемены. Рухнула утопия, что возможно бытие без Бога. Один идеологический эксперимент был вынужден признать свой неуспех, однако травмировало не осознание манипуляции, а дилемма, перед которой неожиданно оказывался человек: продолжить ли падать в бескоординатное пространство обманчивой иллюзии, что возможно сотворить новый храм, или, наоборот, смиренно искать пути к истинному храму спасения в Боге. Открыть этот путь — вопрос прежде всего интимного внутреннего озарения. Но более интересной в этом случае была та перемена, которая наступила в коллективном сознании национального тела.

Большая часть русских людей восприняла крах советской системы как предательство высших национальных идеалов. Потому что «без боя» была разрушена исконная идея о превосходстве над остальными, в которой веками воспитывались русские первоначально имперским, а позже и коммунистическим сюжетом о «старшем брате». Другая и более болезненная реакция на крах было травмирующее ощущение о разрушении Родины. А для русской памяти Отечество — это нечто иное чем прагматическое понимание институции Государства. Отечество — сверхценность, неподдающаяся определению, одновременно и отношение к родному (дом, земля, язык), и мистическое ощущение общности в общей религии. Таким образом, разрушение социальной модели было воспринято через другой исконный для русской душевности

топос, есхатологизм, но с перевернутой семантикой, осмысленной не в дискурсе религиозного, а в социальном как пришествие хаоса, угрожающего полностью уничтожить собственную историю, память, время. Но как хорошо известно, в природе лакун не существует, идейный вакуум еще менее характерен для русской социальной жизни. Компенсируя и борясь с ощущением распада, начала формироваться новая парадигма, конституировавшаяся вокруг концепта «русская идея».

Вряд ли есть другое более спекулятивно употребляемое понятие в современном русском политическом ежедневии, чем «русская идея». И сразу можно добавить — и более невыясненное, спорное, мистифицированное и конфронтирующее: все сводится к русской идеи, все объясняется и оправдывается ее пленительной неясностью. Однако, в необозримом множестве текстов — от поверхностных публицистических и спекулятивных псевдонаучных наблюдений до серьезных философских и исторических исследований — нельзя вывести хотя бы два взаимно сходных определений ее сущности. «Русская идея» связывается с особыми национальными духом, традициями, корнями, самосознанием; с загадочной русской душой; с мессианизмом и с представлением об избранности русского народа спасти православие; с неподдающимся объяснению слиянием между рельефом и этнодухом, из которых вырастает необычная самобытность «русской цивилизации» и т. д., и т. п. Выяснение генезиса этих концептов, конечно, не является задачей настоящего выступления. В связи с рассматриваемой тенденцией мы только отметим в проблемной оптике «русской идеи» одну функцию. Здесь неважно, были ли перечисленные признаки актуальными или забытыми в эти прошедшие семьдесят советских лет; но важно то, что в тот момент, когда была осознана катастрофичность социального бытия русского общества, русская идея превратилась в *идеологему воскресенья*. Между тем, это еще одна исконно русская мифологема, которая делает процесс реально более сложным, чем он выглядит извне и со стороны. Мифологема воскресенья преобразовало русскую идею в своего рода мифичную почву,

вокруг которой должно было объединиться распадающееся национальное тело, в ней здоровый национальный дух должен был найти смысл для формирования единого национального сознания, от нее должна была родиться новая национальная идеология.

В сфере литературы эту цель было возможно осуществить на основе православия.

Православие почитается за одно из проявлений русской идеи, но несмотря на его эмблематическую значимость для пропонентов и конюмеров этой идеи, оно не исчерпывает ее сущности. Православие было призвано прикрыть присутствие русской идеи в обращении с литературой. Рискуя элементаризировать сложность и многообразие процесса, скажу, что алгоритм метаморфозы имплицитно «звучал» так: если нация является воображаемой реальностью, т. е. что-то вторичное, искусственное, мнимое, переходное, нечто, которое подлежит распаду и забвению, то самое настоящее для русского этнического тела есть религия, есть православное христианство.

Православие — это нераспадающийся атом означения «русскости», и именно из-за того, что единственно оно реальное, согласно логике «русской идеи» его невозможно отнять, оно исконное. Оно — вечное, провиденциальное в русском пути между прошлым и будущим. Таким образом, (будучи омысливаемо) как сверхценное качество русскости, оно было употреблено как средство от опасности обезличивания родного. Для литературоведения православие превратилось в олицетворение права на свою русскую идентичность, оно оказалось кодом, который ее восстановил, воскресил из мертвых. Оно возродило разрушенный центр, превратилось в новую парадигму для изучения своей литературы как целостный и единый текст, т. е. оно сохраняет и охраняет литературу и таким образом возвращает ощущение о ее избранности, исключительности, классичности.

Подводя итоги, можно сказать, что сегодня на русском пространстве — это два основных интерпретированных подхода к русской классике. Если первый настаивает на том, что нужно вслушаться в другой голос и что нужно принять плю-

рализм различных мнений, второй напоминает нам, что нужно искать какой-то свой концептуальный смысловой центр.

Они работают одновременно и создают независимо друг от друга научный дискурс. Однако, для иностранного исследователя особенно важно (а в некотором смысле — даже и страшно) то, что в своей собственной нормативности и идеологичности они резко монологизируют перспективу на литературный репертуар.

Демифологизация канона, в первом случае, уничтожает идею о целостности, компрометируя идеологию содержания. Как (высшую) ценность утверждаются языки интерпретации, и так возникает кризис языка. Однако, в состоянии ли язык сам в своей телеологичности сотворить идею литературной истории?

Сверхмифологизация православия, как конституирующая идея на противоположном полюсе, ведет к абсурдному проблемному упрощению содержания из-за его обвязывания *только* с этой идеей. Но разве возможно, чтоб в едином не хватало разнообразия?

Вполне сознательно заканчиваю свое выступление без обобщающего вывода. Смею надеяться, что настоящая конференция предоставит возможность ответить на эти вопросы.